

Владимир Вещунов

# Мама

Григорию стукнуло шесть годков: вполне взрослый паренёк. Мамка выбила на работе, в стройтресте, путёвку «Мать и дитя». «Выбила», поскольку дом отдыха «Золотые пески» не был предназначен для малярш, да ещё матерей-одиночек, да ещё в бархатном августе. Однако в пору гуманной демократии властями изредка пускалась единительная дымовуха, и жирующие тузы и тузики испытывали волнующую связь с народом в «Золотых песках».

Класс материнства и рабочих-строителей в общероссийской здравнице представляла Лизунова с сыном, сельский пролетариат — механизатор Пашков. Пролетарии, соединяйтесь! — и Лизуновых с Пашковым посадили в столовой за один стол... Наконец-то сбылась мечта матери-одиночки! Сколько папок отверг негодный мальчишка, а дядя Гоша вредняшке сразу поглянулся, и он ему так и заявил:

— Гоша, иди к нам в папки!

Чубатый, усатый весельчак-балагур без особых раздумий принял предложение беспашного Гринятки и после «Золотых песков» повёз внезапную семейку к себе в Золотую Долину. Щедрому медо-солнечному золоту, казалось, не будет конца.

Подивились сельчане: наконец-то холостяжка Гошка остепенился. Семьянин!..

Песельно-плясовая пашковская родня, будто Краснознамённый ансамбль, закружила новоиспечённого сынка Георгия. Гриняточку затаскали по своим избам в подсолнухах разные дядья, кумовья, сватовья, сношеницы, племяшки из могучего рода племени Пашковых. И все дивились судьбоносной схожести — один к одному, под копирку! — Георгия и Григория, и схожести их имён. Только кисельная пашковская сродственница, но уважаемая, учительница, скривилась на свадьбе, подготовишке к большой свадьбе:

— Григорий Георгиевич... Фи, как тяжело звучит!

Точно гуси, накинулись на злопыхательницу Пашковы. И весь этот колхоз с новыми его членами — Зинулей и Гринулей — в минуту наивысшего подъёма и воодушевления по поводу осеивания любимого Гоши-Гохи-Жоры запечатлела незабвенная фотка. Незабвенная... Символ великого идеального сродства. Идеального — то есть несбыточного. И солнце покрывается пятнами. Истекло августовское его золото.

У матери заканчивался отпуск. И она засобира-лась в город, чтобы уволиться, продать гостинку и кое-какую мебелишку, увязать к отъезду вещишки. Потом должен был подъехать Гоша и забрать Зинаиду. Но мать почему-то на всю эту отъездную канитель взяла Гриняточку. Пашковы ни в какую не хотели отпускать мальчонку, да и сам он не отцеплялся от штанов папки Гоши. Однако упёртая Зинаида настояла на своём:

— Вон сколько у тебя, Гриш, дружков и подружек в садике и во дворе, и Вика! Неужто не попрощаешься с ними?

Она дала время подумать Гоше. И он всё хорошенько взвесил... Бедная, извелась вся, его ожидая, его звонка. Все глаза выплакала. Благо не успела наделать глупостей: не уволилась, не лишилась крыши над головой. Как в воду глядела... Однако не успокоилась. И вовсе как-то завывала тоскливо. И на Гришу тоска накатила, и он едва не заподывал. Такая тоска источила его по отцовству... Что-то важное ушло из жизни, пустота образовалась. Тягучий, пронизывающий сквозняк покинутости. Будет ли он когда-нибудь так нужен, как в это лето? Согреет ли его ещё такая всеобщая ласка?... Выматывающая душу нежданная сиротская взрослость...

Он выдвинул нижний ящик пего-рябого комода. Вытащил толстокорый альбом в дерматине кирпичного цвета. В нём хранилась дорогая фоточка, облитая золотом отцовской, материнской и пашковско-всемирной любви. Да и матушка дорожила этим снимком. Она вставила его в прорези-скобочки в обрамлении подсолнуховых солнышек, намалёванных ею фломастерами по-детски наивно. Гриша бережно вынул уголки фотографии из скобочек и приблизил её к затуманенным глазам. Словно хотел войти в неё, в то чудесное летечко, где он расселся в середине пашковского племени на травушке — кум королю и сват министру! Папкин племяш Никола только что дембельнулся и находил на дядькиного мальчика солдатскую фуражку. Одна фурага и восседает — счастливой моськи Гриняткиной и не видать...

Чубчик козырьком, уши топырятся... Оглядев себя в зеркало трюмо, по-серьёзному сохмурил брови. Надел бейсболку, которая ему была

великовата: уже не ушастик. В тени длинного козырька лицо ещё серьёзнее стало, взрослее. Он уже и так большой. Когда мамка опаздывала на работу, в детсад через квартал самостоятельно ходил. Этой весной, в мае, с гигромой в больнице лежал. Один. С загипсованной ногой, на костылях. Как инвалид. Все маменькины дочечки, как лялечки, без мам хныкали. Так с мамами и лежали. А он сказал: — Не волнуйся, мама, и не беспокойся! Здесь нянечки добрые и уход хороший. И тефтели с пюрешкой как у тебя! Недели две-то я и без тебя перебежусь.

Это из-за Вики Петровой гигромная шишка под коленкой вздулась. Строили в песочнице замок, а у Петровой лопатка большущая, как сапёрная. Саданула нечаянно... А он ещё за неё заступался. Вывозилась вся в песке, а Валентина Борисовна ругать её стала:

— Ну ты и грязнуля, Петрова!

Гриша и защитил подружку:

— Она не Петрова, она — Вика!

Воспитательница тогда Гришу ухажёром назвала... А жидкость в коленном суставе выкачали, и шишка сдулась. И Гриша даже не хромает. Но то место, где болячка была, надо беречь, чтоб не ударить невзначай... Когда детей в июне на садишную дачу вывезли, он почти не нюнил, как другие. Правда, целый вечер прождал маму и всё никак не мог понять, почему она не приехала и не забрала его домой. Потом привык, и она приезжала каждый день, да ещё на всех кучу яблочек и мандаринов привозила. А после дачи ездили с мамой по грибы. С корзинами, как в деревне. Полные набрали, с верхом. К мухоморам даже не прикасались. Как так, самые красивые — и ядовитые?!.. Обманщики! Валентина Борисовна тоже красивая, а ругается... Сыроежки тоже не трогали. Симпатичные: шляпки голубенькие, салатенькие, красненькие; ножки в белых гольфиках. Но слабенькие, крошатся. Маслят набрали, рыжиков, подберёзовиков, груздей. А вдоль ручья мокрые грузди пошли. У них шляпы с бахромой, усеяны хвойнками. Радёшенька мама была: такие на засолку хороши!.. Из-за грибного ручья она-то и заплутала. Упетлял он в самую дремучесть. Там с еловых лап до самой земли космами свисала хвойная пакля. В такой дремучей тайге прячется избушка на курьих ножках, где Баба Яга. Но совсем не страшно. Так как Гриша дорогу назад, к станции, знал. И заполошную мать грубовато, по-мужски, одёрнул:

— Ма, не туда идём! Вон туда надо, там станция!

— Да-да, туда! — почему-то поверила она сыну и удивилась его уверенности: — Гриша, а откуда ты знаешь куда?

— Ну ма-а!.. — досадливо поморщился он. — Какая ты непонимонная!

Ему-то было всё ясно. Но как объяснить? Может, солнышко на ум подсказало. Вон оно уже куда клонится. Туда и надо!

И птицы знают свой путь, и океанская рыбалось возвращается на место нереста в студёной речке. Божьи создания, ведомые Создателем. И дитя человеческое, любимое творение Божие, особенно бережётся. И чутко, Отчески, то дитятко, которое лишено земной отцовской заботы. Чистая детская душа и воспринимает сокрытое Божие попечение, непознаваемое ведение. Чистая... Но коли помутится в житейском море, заклёкнет для Света указующего — вовсе лишится памяти о доброте Отцовской, да и человеческой тоже. А если же задастся вопросом: откуда это ведение заботливое, то и ответ явится, и вера озарит и утвердит в жизни. И смысл жизни — к цели благой устремится: очищение от мути, нечистоты, освобождение от груза грехов...

Будто сразу повзрослел Гриша, будто уже догадывался о Боженьке.

— Знаю, и всё! — твёрдо сказал он.

Мать по привычке хотела взерошить вихры сына, да положила руку на его плечо:

— Большой уже ты у меня. Мужичок!..

Большой-то большой, но до недавних пор «ш» не выговаривал. Своё имя толком не произносил. Грися — и всё тут! По этой дурной привычке и в Золотой Долине опозорился: папу Гошу перед всеми Пашковыми — Госей назвал. Расстроился очень... Может, обиделись Пашковы и не пустили его к своей семье?... А вон какой мамкин ухажёр был! Удивался за ней: Зина, Зиночка, Зинуля!.. Он, Гриша, тоже ухажёр — Викин. Не бросил её, когда воспитательница разругалась. Заступился. А ещё замарашку Вику в угол поставили за нарушение гигиены. Она, бедненькая, уже хныкать начала. Жалельщик Гриша вежливо попросил воспитательницу: — Валентина Борисовна, да уж выпустите её! Жизнь-то проходит!

Ещё бы! Гриша с Викой такой дом из кубиков отгрохали и куколками заселили. Живи — не хочу!.. И почему же Гоша не приехал? Ведь так обещал. Из дома отдыха до Золотой Долины с ветерком на такси доставил. Бешеные деньги! Для любимой и сынули ничего не жалко! Так не терпелось ему познакомиться обрётённую семью с родичами!.. Неужто обманщик, как Валентина Борисовна, как мухомор в лесу? Красивые, а недобрые... Зря послушался мамку, не остался с Гошей в Золотой Долине. Вон как Пашковы упрашивали! Остался бы — и всё бы сладилось... Вот и рассердились, маму Зинкой обозвали, с гонором она и упёртая до невозможности. А Гоша помалкивал. Переживал, наверное. И сейчас, поди, переживает. И маму жалко. Страдает. И ему, Грише, отец нужен. Сколько можно без отца?!.. Лёшка, дружок садишный, здорово в папке нуждается! Приходят отцы забирать детей из садика, а он к ним так и липнет, папами зовёт. Ну, Гриша и прикрикнул на него:

— Ты, Лёша, глупый, что ли? У меня тоже папы нет, но я ведь не липну.

Валентина Борисовна велела извиниться:

— Лизунов, подойди и скажи, что тебе очень жаль!

Ну, Гриша и извинился:

— Мне очень жаль, Лёша, что ты такой!

— А я всех дядей папами зову! — огрызнулся тот. —

У меня всё равно когда-нибудь будет папа! Вотушки!

Вообще, без отца жить небезопасно. К тем, у кого отцов нет, грабители так и лезут... Мамка на работе задержалась; Гриша сам домой пришёл, ключ у него на шее, на верёвочке. Тут дядьки какие-то стучат, электросчётчик проверить. А Гриша басом их отшил:

— Идите отсель! У нас электричества нет! Мы углём топим!

Другой мужик стучался тоже, когда мамки не было. А постройку бассейна собирал, кто что может. А что Гриша может? Ведро воды. Так дядьке и сказал.

Да-а, плохо без папки! А мамке — без мужа, без опоры. Одной тяжело на ноги сына поднимать. А ему скоро в школу! Вон сколько тысяч надо на сборы: костюм, рюкзачок, учебники, тетрадки, школьные принадлежности, на столовку... Да и любит она Гошу. Помочь надо ей!

Гриша уже читал и писал. И цифры складывал.

Валентина Борисовна пристала:

— Лизунов, сколько будет два плюс два?

— Четыре! — отчеканил он.

Но воспитанка не унималась:

— А можешь объяснить почему?

Вот непонимонная! И Гриша здраво рассудил:

— Так уж сложилось!..

Улыбчивое солнышко заглянуло в окно... Печатными буквами у Гриши лучше выходило. И он вывел на тетрадном листке в клеточку: «Мама я за папой паехал». Положил записку рядом с фотографией. Были бы у него деньги, тоже на такси бы погнал — поскорее к папке! Гоша мигом тогда домчал их до Золотой Долины!..

Присел на дорожку. И с мамой присели и помолчали, когда собрались в дом отдыха. Как в песне поётся: «Присядем, друзья, перед дальней дорогой! Пусть лёгким окажется путь!..» Вот и обернулось всё так хорошо, что Гошу нашли. И Гриша вернёт его. Обязательно!

Дорога до электрички была длинная. От садика школьный стадион, трамвайное депо. На трамвае Гриша не поехал. Кондукторши вредные, придираются к возрасту. А вот на электричке можно проехать бесплатно. Целых три остановки прошагал до станции Третья Рабочая. Никаких Рабочих больше не было, а она почему-то — Третья. Выходной, суббота. Мамку и по выходным на сдаточные объекты бросают. Даже по воскресеньям, и даже по праздникам. На Новый этот год она к Грише чуть

не опоздала, так задержалась на штурмовщине. Только сели за стол, куранты забили. Двенадцать!.. Будто без неё никак нельзя. Маляр-штукатур — тоже важный человек! Гриша с профессией ещё не определился, много их перебрал. А вот Вика уже выбрала: архитектором станет. У неё дома из песка и кубиков здорово получаются...

Дачники на перроне — пруд пруди! Навьюченные, с колясками, с собаками. И всё-таки смог протиснуться Гриша в толчее к окошку. Как в песне поётся: «Всё гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу...» У него почему-то дух захватывало и сердце замирало, когда даль за далью летела...

В вагонной суете колготились пирожочники, мороженщицы, газетчики, узбечки с барахлом, гитаристы с песнями, слепые-попрошайки; «зайцы», бегающие от контролёров; пивобрюхи-пивососы с бутылками...

Солнце летело рядом с электричкой, щедро рассыпая лучи по вагонным окнам, ослепляя, радуя Гришу надеждой на скорую встречу с папой Гошей. Как и тогда, в грибном лесу, указывало оно верную дорогу...

А пирожки-то запашистые! Так на поезд спешил, что даже маковичков не взял в дорогу. Да ладно, Пашковы от пуза накормят. У них такие кружевные блины на сметане!.. Мама раным-рано встала, напекла целую миску. А сама на работу... Маковички со сметаной — пальчики оближешь! И без сметаны тоже... Сколько будет два плюс два, Валентина Борисовна спрашивала. Да Гриша целых пять маковичков может слопать! Так бы напузился — во! Он даже похлопал себя по пузёчке. Да-а, жалко, что не взял! Вон все что-то жуют, пьют. Мороженки в такую жарень — само то!.. «Зайцы» — здоровые мужики, парни, девки. Они-то что бегают? Деньги-то наверняка есть. На пиво экономят. Вон пивобрюх прямо из горла махом бухивает в себя целую полторашку «Балтики». У мамки на работе тоже такие есть: от них дурнотой пахнет. А вот Гоша всегда побритый, оделоном надушнённый. Форсистый!

— Форсу много в тебе, Георгий! И откуда? — недоумевала Зинаида. — Сельский механизатор, тракторист, комбайнёр.

— Первый я парень на деревне, Зин!

— А что же холостякуешь?

— Вредный я, ёжкин крот, на выбор, Зин, разборчивый. А вот ты мне навсегда приглянулась, по всем статьям. Всё при тебе. Само то! Холостяжеству — бой! Заноба ты моя!..

А ей послышалось: заноза. Но переспрашивать не стала, лишь усмехнулась:

— Ну-ну!..

Вот этим «ну-ну» всё и обернулось...

Катил Гриша Лизунов, на что-то надеясь, чтобы всё без «ну-ну» обошлось. Будто кони подковами

стучали—так дроботили колёса поезда по рельсам. Чётко, уверенно. Тра-та-та!.. Однако грусть дорожная, а то и щемящая, томила подчас детскую душу. Как-то всё сложится?.. Станции, полустанки, грохочущие мосты через речки с кувшинками. Долины, перелески, холмы... Бескрайние просторы, необъятный окоём. Дух захватывает!..

— И куда же ты такой малёхонький едешь, да ещё один, без взрослых?

Эта тётчка впервые ехала на дачу к знакомым. Чувствовала себя не в своей тарелке, но старалась казаться умной и интеллигентной в разговоре с соседями по вагону.

— Да что вы говорите?!..—то и дело восклицала она, гусиной вытягивала шею и глубококомысленно вздыхала:— Да-а, всё не так просто...

Она уже многим изрядно надоела, и Грише тоже: «Заладила одно и то же!» И на её вопрос он хотел гордо заявить, что едет к папе, но удержался от такого хвастовства:

— Меня на станции встретят!

Соврал и поёжился, боясь, что «гусыня» и дальше станет расспрашивать. Но она уже к «политикам» прилепилась, картинно удивляясь и вздыхая, по-гусиному поводя головой...

А дорога стелилась то грустью, то надеждой... И в вагонном разговорном гуле Гошин голос чудился... Встречная электричка пронеслась полоской света. Вдрогнул. А вдруг Гоша в ней?! К ним мчитесь!.. Но голос, похожий на Гошин, отвлёк от коварной догадки. А то сорвётся, рванёт назад. Потрогал ключ на шее, который чуть охлаждал. А за окном солнце рассиялось. И в вагоне. Затопляло светом своим сорные разговоры...

— Мы с тобой, Лёха и Петро, настоящие сливы общества!

— И Жулька с нами. Всё понимает, только не разговаривает. А, Жуль?..

Жулька—косматая болотная кочка, одни лохмы, глаз не видно, лишь один носик поблёскивает. Шерсть под носом раздвинулась—улыбка нарисовалась. Мужики, тройца, крадче в пластиковые стопочки водку разливают. Без закуски, лишь крикают, засаленными рукавами занюхивают. Жулька по-бабьи тяжело вздыхает, поскуливает. Морщится от злого запаха. Ничего ей не перепало. Забыли о ней пьянчужки. Тряхнула головой, сбросила космы с глаз, на мальчика уставилась. Он тоже голоденный.

— Трое с водкой, не считая собаки.

— Вот ты, Коляня, и есть слива. Шнобель у тебя как слива. Носогубные бобоны и морщины. Шмутъё бы хоть обновил!

— Здоровье дороже! Так ведь, Жуль?.. Вот ей ничего не надо обновлять, вон какая шуба! Да, Жульчечка?

— Э-эх, запузывает Россия! Водка—сладкая напасть. Так и лезет, стерва, в пасть!

— Дмитрий Иванович виноват!

— Кто-кто? Какой Иванович?

— Менделеев нахимичил.

— А «Путинку»—тоже он?..

— Вон Украина обиделась на нас, аж до похудения.

— Что у них, что у нас—штатные шестёрки.

— Это как это?

— Ну те, которые шестерят перед Штатами.

— Внимание, граждане пассажиры! Премьера старой песни на новый лад с моей верной подругой гитарой:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и труб.

Я другой такой страны не знаю,

Из которой деньги прут, и прут, и прут!..

— Да-а, элитка забанила граждан! Мировой интернационал ростовщиков. Цивилизация «шарли».— Мудрёно!

— Всё научно! Был культ личности, теперь культ наличности. Газовый начальник, наше достояние, вон как забубенивает! Шестьдесят миллионов в день—на рыло!

— И куда ему столько?

— Ха-ха!.. Нет ответа!..

— Подайте шлепому кто школька может!..

— Да, редкостный кадр и настоящее достояние! По-честному сдал дружба Улю... лю... каева. Теперь культ личности—это культ наличности.

— Да что вы говорите?! Да, как всё непросто!..

— Что ж поделаешь, человек—сущность экономическая.

— Где корыто полное, там и родина.

— Мороженое: сливочное, пломбир, эскимо, фруктовое!..

— Вот эта сучность и чмырит свой народ.

— Какой он свой? Генетическое отребье—мы для этих сучностей. Ксения Анатольевна Собчак так выражовываются. В президентши метит.

— С каких мухоморов?

— Пушай свой выводок «Дом-2» в правительство забирает.

— Папаяна ейный чуть главным в Кремле не засел.

— Она папашино завещание выполняет, дочерний долг.

— Демшиза! «Сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать её уничтожения».

— Ох, Россияшка!.. Клынула в её темечко стая жареных петухов.

— Вершителю, блин!

— Что высоко, то иссохнет. Что низко, то исполнено будет!

— Дай-то Бог!

— Президенту направить бы Россию по китайскому образцу или хотя бы в сторону Швеции.

— Слепой поведёт—все в яму рухнет.

— Как с глухаря вода. Опять токует.

— Над пропастью во лжи.

— Пирожки горяченькие, домашние, с капусточкой! Сосиски в тесте!..

— Маечки, футболочки, шулочки, носочки!..

— Что это вы, дамочка, в нос всё говорите и грасируете?

— Не француженка я, а простуженка.

— Газеты свежие! Самая популярная среди наших женщин «ЗОЖ»! Специалисты-диетологи рекомендуют во избежание иммунного дефицита и авитаминоза заготавливать на зиму настой на ежевых иглах и сок бобриный.

— Ты, газетчик, целуй со своим «зожем» пьяного ёжика врасос!

— Не мешай, дядя, газетному обзору! Пушай обзоревает!

— Печальная новость в новостной газете «Жук Жак»! Кошка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн по кличке Паддлз погибла в результате наезда автомобиля.

— С такой кликухой немудрено в ДТП вляпаться!

— Не могли кошке нормальное имя дать.

— Кошка-то не виновата, что у них премьер такой.

— Зато у нас хоть куда! На все сто! Чудо!

— Тут же сообщается, что в Норвегии запрещено плакать. Слёзы — признак эмоциональной нестабильности.

— Что норвегам плакать? У них от нефти государственные накопительные на сберкнижки кладёт, пенсии добавляет.

— Вот это настоящее государство! Заботится.

— А есть ли у нас государство?

— Было когда-то...

— Было да сплыло...

Гришин слух зацепило весёлое название газеты «Жук Жак», и он улыбнулся. А вот кошку жалко. Да и не кошка это была, а кот. И звали его Пазл. Всё напугали. Жалко Пазла!..

— Первая кошка Новой Зеландии... Тьфу ты! Опять про неё!.. — скуловоротная, раздрающая позевота.

— Ты весь вагон проглотишь!

— Это вы — глотатели пустот! Нате, жрите!.. — стал забрасывать газеты.

— Вот это да-а!..

— Это у него от кошки зеландской крыша поехала.

— У всех у нас давно уже крышак набекрень!

— Фламинго со сбившимся навигатором.

Газетную эстафету свихнувшегося на кошке подхватил его конкурент.

— «Наши будни» сообщают: «Президент поздравил с девяностолетним юбилеем самую старейшую правозащитницу Л. Алексееву, которая в ответ попросила освободить из заключения Сенцова, обвинённого в подготовке теракта в Крыму. Путин пообещал, что вообще-то можно, но не сразу». В этом же издании от семнадцатого августа Мария Захарова обнародовала данные о том, что накануне президентских выборов тысяча девятьсот девяносто шестого года личный состав посольской

резидентуры ЦРУ выделил пятьсот миллионов долларов для избрания Ельцина.

— По всему миру свои щупальца раскинули.

— Бурбулисы, Гайдары в объятия к этим щупальцам полезли.

Пропою я вам частушки,  
Слушайте внимательно,  
Про лондоновску избушку  
Олихаркателя.

Там бассейн, спортивный зал,  
Хоромы все из мрамора,  
Олигарх в них заплутал  
Со своей мадамою...  
Чтоб он там совсем пропал,  
Обезьяна ср...ная!

— Молодец, частушечник! Это по-нашему!

— «Толстушка» «По секрету всему свету» раскрывает подробности резни в Сургуте. Уроженец Кавказа, тысяча девятьсот девяносто восьмого года рождения, нанёс ножевые ранения в центре города восьмерым прохожим. Уточняются имя и фамилия неизвестного.

— Неизвестный... А год рождения полиция и СМИ откуда узнали? Темнили толерантные!

— Газета «За фук!» приводит любопытный факт, что в Швеции анонсирован мультфильм для детей «Сказка про Крота, который хотел узнать, кто накакал ему на голову».

Гриша брезгливо поморщился, ему вспомнилась весёлая Гошина присловка: «Ёжкин крот!» И он представил, как Гоша обрадуется ему: «Ёжкин крот! Кто к нам пожаловал! Да это сам Григорий Георгиевич! Это сынок мой любимый! Прошу любить и жаловать!..»

— Евромаразм крепчает!

— Еженедельник «Рабочий и колхозница» поместил скандальную новость, как Ургант обозвал передачи Соловьёва «соловьиным помётом». В этом же номере главный раввин России Берл Лазар заявил, что евреи в России чувствуют себя уверенно, зажигают ханукальные свечи на центральных площадях с мэрами и губернаторами в ожидании Машиаха. Здесь же перепечатка из немецкого журнала «Фокус». Обозреватель этого авторитетного издания высказался о госпоже Меркель: «Она боится собаки Путина и не боится Путина».

— Да-а, всё не так просто!..

— Тётечка, у вас такие ногти длинные! — Грише надоело слушать всякую болтовню, и он решил поддеть «гусыню».

— Нравятся?

— Нравятся. Наверное, по деревьям лазить хо-рошо.

— Да что ты говоришь?

— Тётъ, а тётъ, а зря вы краситесь! Вас уж, наверно, никто не возьмёт.

— Это не есть хорошо, мальчик!.. Да-а, всё не так просто! Какие нынче современные дети пошли, шибко грамотные!

Гриша воспитанно кашлянул, сдвинул бровки домиком, участливо и вежливо обратился к беременной женщине:

— Тётя, садитесь! Я уже большой, постою. А вашему ребёночку ещё силы нужны, чтобы из животика вылезти.

Гвалт поднялся, заполох:

— Бежим, толпа! Она идёт!..

Тучная ревизорша с бляхой на груди заняла полвагона.

— Общественно-политическая газета «Анализ» отмечает, что центральные каналы российского тв охотно предоставляют эфир украинским русофобам. И задаётся вопросом: почему так происходит? И, как всегда, популярный «Поводырь» помещает заманчивые объявления: «Продаётся дом рядом с тихими соседями», «Салон белой и чёрной магии „Чаровница“ предлагает: приворот, отворот, гадание по линиям жизни, лечение наложением рук, чистка вашей кармы».

— Чистка карманов!

— Спешите! «Толстушки» на тридцати двух страницах, цена тридцать рублей. Остальные— всего по десять! Покупайте свежие новости!..

— Мама, мама! Вон птицы! Крыльями махают. Аисты! Меня же аист принёс?

— Вороны накаркали! Не лезь в окно! Сиди давай!

— Граждане пассажиры! Во избежание террористических актов...— разнеслось по вагону радио-предупреждение.

— Уже в швырнадцатый раз предупреждают!

— Да, для иных политика— плёвое дело. Как два пальца обсосать. А судить надо не выше сапога.

— Каждый суслик— агроном!

— Лучше ни о чём не думать.

— Хм-м... Это—мысль!— поддакнул пофигисту напыщенный, как индюк, господин.

«Индюк думал—и в суп попал!»—неприязненно усмехнулся Гриша.

— Слышь, Петровна, Путин с Медведевым себе зарплаты выписали аж по сорок тыщ.

— Тушёнку небось кажин день жрут!..

Болтовня вагонная, сумбурная, бестолковая... В ней как бы голос Гошин. Знатный политик, душа любой компании. Вот бы стал душой своей семьи: Гоша, Зина и Гриша!.. И поезд резвым скакуном стукотил, а от него в даль дымчатую грустью стелилась охристая дорога. И Гришу то картинки скорой встречи порадают, то взгрустнётся: сбудутся ли?..

— Знатные у нас песельники в «Ромашке!»— похвалился дачник с голосом, похожим на Гошин.

— Сколько талантов закопалось в землю, связавшись с дачами!— усмехнулась дама с нервной собачкой.

— И здоровья!— добавила пучеглазая, с набрякшим лицом, дама, похожая на Тортилу.

— Сиреневка! Следующая— Золотая Долина!

На Сиреневке гуртом вывалились последние дачники. А Гриша уже за ними потянулся, встал в тамбуре наизготовку. Вот-вот откроются две половины двери—и он выпрыгнет на перрон...

Вместе с Гришей на станции высадились старушка с кошкой в корзине и тётка с двумя полосатыми «челночными» баулами. Челночница загрузилась в легковушку, а кошатницу забрал мотоцикл с люлькой. Подкатил на велике белобрысый, покрутился, напрасно кого-то выглядывая, и упылил. Гришу никто не встретил. Вот бы Никола Пашков на «Ямахе» подрулил! А ещё лучше, если бы папка подъехал на «Беларуси!» Никого!..

Лесостепная русская сторона. Дали неоглядные. На равнине дымка белее молака. Вспененные облака. Жаворонок ручьию журчит в вышине. Ветерок атласный ласкает лицо Гриши. Вдоль дороги, обочь, травы стеной. За придорожным травостоем волнилась овсяница. В её лосных волнах играли разноцветьем полевых цветов сарафанные ситцы. Сколько жизни в высоких травах! Стрекохут, скворчат, жарят кузнечики. Весёлые пташки вспархивают тут и там.

Гриша-удалец вичкой-сабелькой срубил длинноусые колоски овсяницы. Брызнули, сыпанули прямо в ноги зелёные кобылки, ударяясь о кроссовки. Всполошились, заперелёгивали кургузые перепёлки. Стрекохучие кузнечики разом замерли—и облачко их зелёно-золотистое взнялось, воспрянули сомлелые цветы. Гришу обдало жаркой духмяностью, в носу защекотало, и он чихнул. И точно от чиха засигали через дорогу длинноногие кобылки, пугаясь в ногах мальчика.

По дороге пыль змейкой заскользила. Извиваясь, свилась в кольцо, заколесила, закуролесила, завихрилась... И опала, улеглась.

Воздух струился от зноя, в нём слюдяные стрекозы дрожали... И резко срывались к оврагу. В край его корнями вцепился раскидистый вяз. Под ним, в тени, чирикал воробушкой ручеек. Рябь его блестящая слепила глаза. Гриша зажмурился крепко-крепко... Так же и река у дома отдыха блистала. А он по плёсу скакал на закорках Гоши. И мама так же блестяще смеялась... Струйчатая вода, тонкие морщины ручейка—как у мамы... Наверное, ещё не пришла с работы, не знает, что сын за папкой отправился...

Ладошкой зачерпнул водички, попил, лицо ополоснул. Спустился к тихой заводи с рябью мальков, снующих в шелковистых водорослях. Жук-плавунец с наслаждением потёр нектарные лапки на розоватом цветочке зонтичного сусака. Спустился по стеблю к воде и нырнул, как заправский пловец, запузырил. Водомерка важно заскользила на

четырёх лыжах, оставляя светлые ниточки следов... Поедут они всей семьёй снова в дом отдыха, к реке. А Гриша изобретёт и смастерит такие же лыжи, как у водомерки, чтобы на другой берег по воде перейти. А то тащатся на водных лыжах за моторками, как хвосты. А сами не могут... А он как пойдёт прямо по воде! Вот все удивятся!..

Осока, камыши, солдатики рогоза. Неумолчный звон насекомых в мощной зелени. И надоедлые комары вьются, прямо в ушах звенят.

Поднялся на дорогу. Чудное небо! Таким разным бывает. Всё время меняется. Сейчас вот музыкальное, как на музыкальном часе в садике: птицы, как ноты, в нём летают, поют... Облачко—яблочко наливное. Другое взвилось—зефиркой... Попить—попил. Сейчас бы яблочек и зефирок—о-о, сколько бы слопал!.. Облачко—как лодочка. Поплыли! Гриша за вёслами, гребёт, тужится. Корпусов дома отдыха уже не видно. Гоша маму обнимает, жену свою. Потом Гришу, своего сыночка, меняет его за вёслами... Потом загорали, купались, бегали втроём наперегонки. Как весело было, хорошо!.. Эх, вот бы босичком по пуховым облакам побегать! Наперегонки с облаком—зайцем-побегайцем... А вот облако—кудрявое. Как пудель Викин, Антон. Она ему попонку сшила. Говорит, что сама. Наверное, и сама, и мама помогала, и бабушка. У Вики и дедушка есть. Всё у неё есть. А у Гриши, кроме мамы,—никого. Мама...

Вику в пятницу родители сразу после полудника забрали, в цирк. Гриша тоже с мамой в цирк ходил. Ох, сколько всего там интересного!.. Пудельки, модно постриженные, по кругу бегали, озорно лаяли. Один через другого прыгали, в чехарду играли. Антон, он покрупнее, тоже с Викой в чехарду играет... Нарядная девушка в кокошнике, на Вику похожая, тоже с ними бегала, подбадривала. А потом она двух огромных лохмачей вывела—алабаев. Её даже и не видно было среди них. Они на задних лапах ходили, потом боролись и свалились в кучу малу. Вот забава!.. А тигров жалко. Не хотели они подчиняться дрессировщику, огрызались, рычали. Отпустили бы уж их на волю!.. И скаун на волю тоже рвался. Тесно ему, и разбежаться негде. Стройный, порывистый, с тонкими сухими ногами. Потанцевал для публики балетно—и упёрся, заржал негодующе, вздыбился. Заперекатывались мышцы под кожей с золотым отливом. Конь-огонь! Вытянулся струной и помчался по кругу, понёсся... Вот-вот вылетит из душной раковины цирка вольным ветром!..

Гриша даже попробовал вылепить скауна из песка, но стройные ноги не получались, рассыпались. Раздосадованный, начал поглядывать на дорогу: а вдруг мама тоже пораньше придёт, и они тоже в цирк пойдут, и Гриша опять будет любоваться огнистым скауном?..

И вдруг он краем глаза увидел, что мама и впрямь идёт по дороге.

—Мама!—радостно закричал и бросился к штакетнику.

«Гришенька, сыночка!»—обычно отзывалась она, просовывала руки между высоких штакетин, гладила его и шла ко входу, к воротам. Теперь даже не оглянулась, прошла мимо. Он отодвинул болтающуюся штакетину, пролез в дыру.

—Куда ты, Лизунов?!—закричала воспитательница.—А ну вернись! Назад! Кому говорю?!..

—Ма-ама-а!..—спотыкаясь, бежал он в слезах, падая, и звал, звал:—Ма-ама-а! Ма-ама-а!..

Уткнулся в подол, схватился за него ручонками... —Мальчик, ты что?..

Поднял зарёванные глазёнки—чужая тётенька! —Ты обознался, детка.

Ушибленно поплёлся назад. Обознался... Перепутал маму с чужой тётей. Как же так?.. И волосы пышные, золотистые; и кофточка белая в горошек, и юбка синяя в полоску... И так горько ему стало. Как будто мамка предала его, бросила. Как будто он предал её. А всё из-за того, что ждал, ждал и так заждался, что и обознался. Почти стишок сложился. И от стишка этого успокоился, а то бы ещё надрывался...

Как хорошо, что у него есть мама! Больше он её никогда ни с кем не перепутает, не обознается. Мама есть, и Гоша папкой станет. Вот и будет полная семья. Всё будет как у людей. А то: мать-одиночка. Какая же она одиночка, если у неё сын есть? Их же двое. А будет вообще трое! И всё будет хорошо!..

Вольно раскинулась меж голубых холмов долина, облитая солнцем. Всколмления, берёзово-осиновые рощицы. Уютные хуторки в их тени поодаль дороги. Оттуда доносились лишь пегушинные клики, влзлаивание собак.

Полуденное солнце било прямо в лицо Гриши. Надвинаясь пониже длинный козырёк бейсболки. На оковине деревни мосток через высохший ручей. Прошёл по нему, шаткому и скрипящему,—и нос к носу столкнулся с телёнком. Бычок—белый бочок. Хорошо, что на привязи. Рыжие—они вредные. Раскорячился, верёвка натянулась—вот-вот порвётся. Набычился, будто уже бодает. Рожки ещё только шишками вылупились, а уже гроза грозой. Страшно—аж жуть!.. Поняв, что мальчик не боится его, запрыгал по-телячьи, играть захотел. Конечно, скучно здесь ему одному. И поиграть не с кем. Надавал Гриша лёгких, ласковых щелбанов по белой звёздочке на лбу. Стишок начал:

—«Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу...» Нет, это не про тебя, игрунчик. Ты вон какой прыткий! Ладно, спасибо за внимание! Некогда мне, Рыжик. К папке спешу. До свидания!

Другой быча, рогатый, жарой будто слепленный в пельмень, дремал на заклёклой, ископыченной

земле. Оводы и слепни лупасили его, грызли, а он не обращал на эту бесноватую свору никакого внимания. Стороной обошёл Гриша опасное место: как бы на него не набросились злыдни. От комаров на даче-то натерпелся. А эти носятся, как пули, с ног собьют, до болючих волдырей изжалат. Бр-р!..

Деревня томилась в душном безветрии. Даже бабочки спали на лету. У лужи, затянутой ряской, понурились гуси. Гусиные перья разбросаны по небу, а гуси — вот они, тут.

— Тега-тега!..

Даже не зашипели. Утки выхрамывали в тени забора.

— Утя-утя!..

Даже не крикнули. Полуденный зной. Август в золотом забытьи... И вдруг покотился подсолнухом. С какого палисада-огорода сорвалась эта золотая кудрявая голова? С пашковского. Вот-вот — и они все бросятся к своему Гриняточке! И папка впереди!..

Частокол забора, резной палисад. Янтарные ожерелья облепили плавятся с терпким, вязким запахом. Индюк-расфуфыра. Такой же ехал в электричке. Как, бывает, люди походят на индюков и других птиц и зверей!.. Маслянистый красный гребень. А с клюва то ли сопля висит сукровичная, то ли кишка. На шее «слюнявчик» жамканый. Мясистый бородавчатый нарост на клюве кровью налился. Хвост веером задрался. Саблевидными окрылками землю скребёт. Шпоры о землю точит. Вот-вот нападёт, несураз. Ой-ой, как страшно!.. Поклекотал, задумался.

— Индюк думал — и в суп попал!

Пробормотал пугало миролюбиво, хитро покосил: мол, здорово я тебя напугал! То-то же!.. И Гриша погрозил ему пальцем: вон как дулся, а сам добрый, притворщик; да и узнал, поди.

Курицы-копуши запурхались в пыли. Пеструшки и рябенькие хохлатки.

— Цыпа-цыпа!..

Заквохтали квочки. Из-под зубчатого забора вылез их господин, петух. Отряхнулся, вытянулся во весь молодецкий рост и прогорнил, как трубач. Гоша говорил, что он бойцовский, дом сторожит надёжнее Мухтара. Да, боец-красавец! Огнистый, хвост — серпы калёные, чёрные. Косится, зыркает враждебно, кокочет, боком-боком к мальчику подступает. Не признал Гришу. Крылья топорщит, разминает. Вот-вот взмахнёт ими и наскочит, побёт, заклюёт!.. Сжалился. Грудь колесом. Выгнулся жирафом и заорал благим матом. Аж оглушил!..

Мухтар загрелм цепью, зашёлся в лае до визга. Овчар, шерсть чёрная с глянцем, жёлтые подпалыны на щеках и в подбрюшье. По-киношному геройской кличкой наградили. Гоша целый день знакомил Мухтара с Гришей, приручал. Поначалу дружба не ладилась, побаивался мальчик грозного пса. Стыдил Гоша:

— Гриша, ты куда? Постой, ёжкин крот! Не надо показывать, что ты Мухтара боишься!

А мальчик чистосердечно признавался: — А зачем я ему буду врать? Я ведь и вправду его боюсь!

Потом сдружились. Гриша на Мухтаре даже прокатился, как на коняшке. Когда он у Пашковых гостил, Мухтарка как миленький был, собака-танцевачка. Подлизывался, ластился, костомашу выпрашивал. А тут не признал, зверь зверем. Рвётся с цепи, забор ломает. Из пасти аж дым валит, вот-вот огнём полыхнёт. Аж поперхнулся от злости. Зашёлся в лающем кашле, в стариковском. Так тебе и надо, собака-кусака, собака-бьяка!..

Другой кашель раздался рядом. Слепила никелем «Ямаха». Щуря глаза из натекающего пота, поднял тёмно-зелёное забрало «инопланетной» каски Николай:

— Малой, ты, поди, Гошку ищешь? Тю-тю его! Умотал, забравовался.

Насунился Гриша: Никола малым его назвал, как чужого; и Гошу грубо — Гошкой, дядю своего. Да и не поверил ему:

— Обманываешь! Вон его голос! Он песню поёт. — Померещилось тебе. Это на дачах! — Николай махнул рукой туда, откуда доносилась песня. — Не веришь? Ну как хочешь... На край света за длинным рублём он подался, бешеные деньги, на Тихий океан, Курилы... — как взрослому, стал объяснять. — На ихнем острове рыба поплёрла, бабки. Пути́на!.. Нам здесь и не снилось! Туда и сквозанул. Устроится — и я к нему!.. Терпи, казак, атаманом будешь! — и он «показаковал» на своей ненаглядной «Ямахе».

Пыль с чадным выхлопом взнялась. Петух поперхнулся, издал ржавый карк.

Не распустил нюни Гриша, лишь носом шмыгнул. Померещилось... И в электричке у дядьки голос был как у Гоши. Прислушался: да это же Гошина любимая песня! Самодельная, он её сам сочинил:

Над садами плыл запах сирени.

От любви опьянён, я твои целовал колени...

Это он маме в любви признавался. Там папка, там, на дачах! Это его песня! Кинулся Гриша на папкин голос, побежал. Ключ на потной шее болтался, бейсболка ёрзала на взмокшей голове, сбилась набок. Скомкал её в кулаке и припустил ещё шибче... Уже другая песня завелась: «Расцвела под окошком белоснежная вишня...» Тоже папкина. И мамина любимая. И Гриши. Втроём складно в парке дома отдыха пели. Все отдыхающие заслушались... Хоть бы папка пел и пел! Чтобы песни не кончались. Папкин голос дорогу указывает, к себе зовёт...

Фанерка указательная на крестовине: «Садоводческое товарищество „Ромашка“». Но на голос прямо не побежишь. Проулки, закоулки, криулки...

Запыхался, пот глаза щипал, отёр запалённое лицо шапочкой. В висках от бега кровь бухала, сердчишко скакало. Отдышался. За калиткой под сливой за дощатым столом уже не песня стройно звучала—пьяно горланили вразной. Нет, не видели никакого Гошу. В «Ромашке» все друг друга знают, и Пашковых здесь нет!..

Убитый горем, как согбенный старичок, побрёл не зная куда. Подзаборная шавка с тьявканьем насканивала на него. Хозяева увещевали её:— Ляля, Ляля, не обижай мальчика!..

А он даже не замечал её наскоков. Шёл себе и шёл... Ему всё-таки мнилось, что Гоша был на даче, пел—и сбежал. Предал. Обманщик, мухомор. Никакой он не папка. Он никто!.. А Гриша от горя в лесу заблудился. Раньше запросто выходил. Протяжный, тоскливый вой поезда. Эхо за эхом разносится над лесом, путают стороны света. Куда идти?.. Выбрел на завиток лесной поляны. Рой солнечных зайчиков при колыхании деревьев вокруг поляны играл на ней. И Гриша, чуть не расплакавшийся от отчаяния, немного приободрился. Ничего, вон в телевизоре девочку Таню показывали. В лес за грибами с родителями пошла. Целую неделю, аж шесть дней,—одна в лесу! Как же выжила? Медведи подходили, не тронули, волки, рыси... Да они только на злых сердчают. А Таня, как и Вика, добрая. Машенька из сказки трём медведям даже постель постелила, порядок у них в избушке навела. А Маша из мультика вообще с Мишей дружит и прикалывается над ним по-доброму... И Боженька добрый. И всё доброе—если перед ним не злое. Мама про доброго батюшку Серафима рассказывала. Он был такой добрый-добрый, медведя хлебушком потчевал. А Миша мёд ему приносил, который пчёлки в дупле собирали...

Плачет кто-то, зовёт на помощь. Кошечка, шубка бело-рыжая в чёрную крапинку. Лапкой пытается освободить из паутины жука-олена. Она на танчик похожий, только с рогами. Рога и запутались. Гриша козьяк не боится. И мышек тоже. Только комаров, которые жгуче жалят, а потом почесуха. Отмахнулся от них длиннокозыркой. Бережно выпутал жука. Тот на его ладошке встал на задние лапки, на цыпочки. Потянулся, повёл тяжёлыми рогами—и взлетел вертикально, как солдатик. Ну и Жук Жак!.. Гриша заворожённо посмотрел ему вслед. Радостно: освободил! С помощью доброй кошечки. А она трётся бархатной щёчкой о руки мальчика, мурлычет благодарно. И не мяучит, а жалобно говорит: «Ма-ма!..» Вот это да-а!.. Наверное, помочь ещё кому-то хочет. С ней Гриша не потеряется. Она к людям выведет. Пошёл за ней. В высокой траве терял её, кискистал. Она поджидала его, отзывалась: «Ма-ма!» Вот бы поводок к ней привязать, а то убежит, и он один-одинёшенек останется... Но она не убегала.

Куда-то вела. Наверное, к себе домой. Может, у неё там котята голодные, вот она и тревожится. Но где же её дом? Дачи давно кончились. Впереди тёмный лес. Долго уже скитаются. Гриша подустал. Натерпелся за день. Эх, не надо было своевольничать! Втемяшилось: папка, папка... Да ведь и мамке хотел помочь, извелась вся... Нет, лучше бы вдвоём с ней поехали. И что?.. Смотался Гошенька в сторону моря. А для неё—удар. Нет, правильно поступил, чтоб её не травмировать... Устал. Облака—пуховые подушки... Свернуться бы калачиком в духмяной траве, поспать бы полчаса под пение мурлыки... Поезд будто рядом «подковами» простучал. Так эхом близко донеслось. И там... И там... Будто кони повсюду... Так мечталось Грише увидеть скакуна в деревне, промчаться на нём!.. Вот летит он, как ветер; грива развеивается, искры из-под копыт!.. Не то что Колькин мотик. Что это за деревня, если кони не скачут? А ещё Золотая Долина. Никакая она не золотая!.. — А у вас коней нет!..—уже сонно пробормотал Гриша, сморённо сворачиваясь калачиком в травяной перине.—Какая-то ненастоящая деревня, ненастоящие, обманные Пашковы...

Снился ему горизонт, он ширился, алел, шевелился. И оттуда, издалека-далёка, шла мама. К нему, навстречу... Солнце подсвечивало горизонт снизу, играло сполохами: зеленоватыми, голубыми, сиреневыми, фиолетовыми... Каждый охотник желает знать, где сидит фазан... Тёплое, усыпляющее мурлыканье не даёт Грише даже ворохнуться в своё гнездышко. И не только в своё. На пару с ласковой кошечкой, похожей на маму. Нежный цветочный запах струйкой вьётся из травы вместе с вьюнком, зовёт в путь. Кошечка сморщила личико, повела розовым носиком, задела пряный «граммофончик» цветка, чихнула потешно.— Будьте здоровы, сударыня!—вежливо пожелал Гриша.

Трава сочная, влажная, а он не мокрый. В обнимку с тёплой пушистой кошкой спал, потому и не промок. Как же её звать? Кискинул. С наслаждением выгнулась, подняла хвост трубой и повела мальчика дальше. Оглушительно грянул хор лягушек. Будто дорожный марш.

Спустились в ложину. В сыром воздухе кисло, прогоркло пахло прелой листвой. Звенело комарьё, всё плотнее, злобнее окружая Гришу. Хорошо, что надел плотный джинсовый костюмчик. Но бейсболки не было. Сползла с головы, когда уснул. Не возвращаться же? Потрогал ключ на верёвочке: на месте. В лопуховых зарослях сорвал целый «зонт» и стал им отхлёстываться от налётчиков. К кошке не так лезут, но и от неё отгонял лопухом злыдней.

Кусты тальника и вереска спутались с разнотравьем, сбились, как войлок. Киса юркнула в тьму эту, и оттуда птица вылетела с отчаянным писком: «Пить! Пить!..» Подобрал Гриша суковатую палку,

пробил ею в зарослях пролаз, протиснулся через зелёную стену. Вот тебе и «пить-пить»! Из валуна, поросшего зелёным мхом, бьётся, курлычет живая водица. Рядом у бочажка на косматой кочке, похожей на Жульку,—другая кочка. Жабища замше-лая, страшила, в пупырьях, бородавках. Пучится, скоротилась, скрипит, урчит. Рожу корчит, стра-щает. Сама мило! Василиса Прекрасная. Стрелу Ивана-царевича— в щелястый рот!.. Хлопнул Гриша в ладоши. А она таращится, лупит гла-зами. Замахнулся палкой на неё. Бултыхнулась в иззелена-чёрную воду бочажка. Подставил Гриша ладони под родниковую струю, обжётся холодным искристым глотком. Ох и вкусная живая водица! И киса задрожала вся, лакая из ручейка, так пить захотела. А с той стороны к валуну тропинка протоптана. По ней и побежала киса. Гриша за ней едва поспевал. Избушка завиднелась. Раз-валуха, похилилась. Выветренные, выгоревшие на солнце бревёшки—как худые рёбра. Дверь с облупившейся краской чуть приоткрыта. Кошка прошмыгнула в щель. Гриша мелко постучал и вежливо произнёс:  
— Туки-туки!..

Отозвалась лишь кошка и не мяукнула, а как бы сказала: «Ма-ма». Гриша пошире приоткрыл дверь, она жалобно проскрипела. Вошёл. Затхлостью шибануло. Хотел культурно снять кроссовки, да в полумраке едва не споткнулся о чуни—сапоги с обрезанными голяшками. Они стояли перед топчаном. От порога до него шагов семь: столь тесной оказалась малуха. На топчане скомкался ворох тряпья. Всю эту кучу пыталась разгрести кошка. Наконец из-под ветоши послышался сла-бый старческий голос:  
— Мама, это ты?..

Гриша догадался, что старуха так зовёт кошку.  
— Бабушка, ты не спишь?—кинулся к ней.  
— Мнученок!.. Ты, Мама, его привела?.. Попить бы!..—еле выговорила старуха иссушенным ртом.  
Справа от чуней, над печкой, сделанной из железной бочки, висел ковшик. Гриша схватил его и побежал со всех ног к роднику. Даже жабы не испугался. Обратно, чтобы не расплескать жи-вительную водицу, двигался мелкой побежкой, словно щепотью. Мама в нетерпении поджидала спасителя у постели постанывающей бабушки. Гриша поднёс ковшик к губам старушки. Напив-шись, она облегчённо вздохнула. В телогрейке, выжженной потом, свесила ноги в залатанных валенках. В такую жарень!..

Морозило её. День последний стыло глядел и темно. Она уже собралась встречать зиму жизни своей. В августе—холод смерти..

Испила ещё водицы, и голос её стал мягким, матовым:

— Так-то лежала, думала, не упаду... Нет, упала... Лежала бы себе и лежала, и тихо бы отходила,

облекалась в смертушку. Нет, жить, грешной, захотелось, помолиться на ясный образ неба. Вот и приподнялась—и бухнулась на пол. Еле-еле назад заползла. Уж как Мама хотела посо-бить, исстрадалась вся. Уже который день кряду так-то недвижно лежала...—то ли сама с собой, то ли с Мамой и мальчиком делилась наболев-шим старуха.—Некому и воды подать. Мама-то не может, переживает. А я занемогла, занеду-жила, нехожалая.

Услышав своё имя, кошка со звонким мурлы-каньем разлеглась на коленях у бабушки, и та принялась её наглаживать:

— Песельница дивная! И где обучалась такой высо-кой ноте? Приголубила Мама бабушку, согрела. Не прибрудилась, дом обрела. Коли б не она... Сиротство на старости лет. Зябкость, затхлость, гиблость... Вон сколько света от Мамы моей! Вот и тебя привела, спасителя. А у меня, мнученок, всего-то один рот и два уха: охотнее нуднежит слушать, чем говорить. Как звать-то тебя, сударик?

Морщинки на лице её собрались живым узором: седенькая, с приветливой детской улыбкой.

— Бабушка, а от тебя хорошо пахнет!—радуясь её живому виду, подбодрил старушку Гриша.—Улыб-кой прям!.. Моя мама тоже приятно пахнет. Её Зинаида звать, а меня Гриша. А тебя, бабушка, как?

— Меня, Гришенька,—Фрося.

— Приятно познакомиться!

— И мне, милок, приятно!

— Ну вот, мы с мамой только вдвоём, у нас больше никого нет. Познакомились с одним... А ну этого Гошу! Обманщик. Мухомор. Не оказалось его в деревне. Сбежал. Зря я за ним поехал. Теперь мама за мной поедет. Доставил я ей хлопот. Испере-живается вся...

— Так тебе, Гриша, в деревню надо!

— А как же ты, баб Фрося? Не-ет, одну я тебя не брошу! Ножки у тебя болят. Воды некому подать. А Мама не может... А моя мама найдёт нас. Обяза-тельно! Она знаешь у меня какая?! О-о!.. Сыщица настоящая! «Тайны следствия» по телеку смотрит, про Машу Швецову. А та все следы распутывает. И Мухтар бы мой след взял, да Пашковы меня даже не позвали к себе. Колька ихний скажет маме, что я на дачах... Что ж, не было папки, и Гоша не папка!.. Бабушка, может, и хорошо, что у нас с мамой никого нет? Некому ссориться... У нас в садике Илюша умер. У него папка с мамкой руга-лись. А он переживал. Сердечко и не выдержало. Мы его хоронили. Все горько плакали. И я... А вот у Вики семья счастливая. Папа у них работает. Вика говорит, что у неё мама красивая и она вся в маму пошла. А когда её мама выспится, Вика говорит, что она и добрая тоже... А как люди умирают, баба Фрося?

— Наверное, их аист уносит.

— Не-е, Илюшу не аист унёс.

— Ты уже, Гришенька, большенький, в возраст вошёл. Так вот слушай: смертушка останавливает зло в человеке, избавляет от болезни.

— А Илюша добрый был.

— Он-то добрый, ангел, можно сказать. Умер—и родители перестали ссориться, а он—перестал болеть.

— Когда я умру, меня в земельку закопают. А я всё равно из земли вылезу и домой пойду, к маме. И к тебе, бабушка Фрося, и к Маме-киске. И будет нас вообще трое, четверо даже. И всё будет хорошо!

Сладко мурчащая кошурка сквозь дрему услышала и «кис», и «Маму». Вопросительно посмотрела на мальчика. Соскочила с коленей бабушки и вышла на улицу: дверь плотно не закрывалась.

— Куда это она, бабушка?

— Поохотиться или травки пожевать. Знатная охотница! Дичью меня снабжала: мышами, воробьями, голубями, сороками. Я, хоть и не емши, велела ей самой съесть. Унесла она добычу и припрятала про запас.

— Баб Фрось, а ты ещё вырастешь?

— Нет, Гришенька.

— Ну тогда можно не кушать.

— Посмотри на печке, я там горбушку хлеба на сухарики разломил.

Гриша отодвинул чуни-обрезы за печку, пошла ладошкой по плите:

— Ничего нету!

— Ах, Мама! Неужто не всех мышей переловила? Хоть опилки жуй, да и опилок-то нет.

— А ёжики тоже мышей ловят. Баба, а у тебя ёжики есть?

— Фыркают, пыхтят в огороде, во дворе, а то и возле крыльца бухтят.

— Один мальчик нашёл в лесу ёжика. Принёс домой, кормил его орехами, наливал молочка. Наступила весна. Залез ёжик на подоконник, расправил крылышки и улетел.

— Да это же не ёжик! Кто это был?

— Ха-ха! Я тоже так сначала удивился. А мальчик посмотрел ему вслед и подумал, что это ерунда какая-то!

— А ты, милоч, такой ерундой голову-то себе не забивай!

— Почему ты, баб Фрося, такая сердитая?

С хитроватым прищуром она скрипуче проговорила:

— С метлы упала! На себя и сержусь.

Гриша расхохотался.

— Смешинка в рот попала? Вот слушай!

Страшенькой старухе  
Девяностый год.  
Страшенькую бабку  
Боится даже волк,  
А в избе с испугу  
Гаснет и огонь!

— Не-е, бабушка! Вот Викина Барби Яга—так Яга!

— Ишь, какой ты воспитанный! Не дерёшься в садике?

— Бывает.

— А из-за чего?

— Из-за игрушек.

— И кто у вас самый сильный?

— Валентина Борисовна... Бабуня, а мама тоже иногда на меня сердится. Даже по попке нашлёпала. В войнушку во дворе играли, а я устряпался, как анчутка. Бабуль, а кто такая анчутка, ты не знаешь?

Старушка лукаво сощурилась и помотала головой: якобы не знает.

— Эх ты!.. Много будешь знать—скоро составишься. Да ладно, так и быть, помогу отгадать: четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж. Все слова на букву «ч». Здорово!.. Это когда ты была молодой, чернилами писали. Мы в садике шариковыми ручками пишем, фломастерами рисуем. А чертежи сейчас на компьютере чертят. Вика архитектором станет, и ей смартфон подарили. Но воспитательница строго запретила... Вика с детской горки не решается скатываться. А то упадёт, и голова будет грязной. Она мне по секрету призналась, что мышек боится. Вот трусиха! А я не боюсь! Только вот жаба у родника—ох и стра-ашная!

Бабушка взяла руку мальчика в свои ладони: — Жму твою мужественную руку, Григорий! И меня давил мышиный страх. И волки, бывало, подходили... А ты не испугался жабы и принёс мне подички. Вовремя напоил, а то я умирала от жажды. А вообще, жаба только с виду страшная. А так она добрая и полезная. Воду в бочажке холодит и чистит. Раньше в деревнях этих лягух нарочно в жбанах с молоком держали. Молочко тогда холоденькое, всегда свежее, вкусное.

— Мама ко мне всё с йогуртом и кашей пристаёт. А я этим наелся на всю жизнь! Теперь-то мы с тобой, бабуля, не отказались бы. Скорей бы уж она приходила! О-ох!.. Да-а, сейчас бы яишенку, глазунью! Тебе, бабушка, и мне. И Маме, киске нашей. Разбить по два яичка. Шесть яичек. И на сковородку! Ох и заскворчит!.. Я Лёшу спросил: «Какую ты кашу любишь?» А он говорит: «Яичницу». Э-эх!..

— А моя Мама непривередливая. Всё подряд ест!..—как бы позавидовала баба Фрося и слотнула голодную слюну.—Зеленушку огородную, кашку медвяную, калачики гусиной травки, опять, фрукты, овощи, даже картошку...—перечислила она кошачьи хотелки.—А в целебных растениях разбирается, как народная травница... Ох, огород-то, поди, весь зарос, давно не пропальывала. Гришенька, иди посмотри, какую травку Мама кушает, такую и мне принеси.

Она мышковала на пустыре до самых холодов. Потом перебралась в подъезд многоэтажки. Там

тоже было холодно, и она жалась к тёплой двери квартиры на первом этаже. Из квартиры выходила женщина и кормила её колбасой. С теплом кошку увезли на дачу, чтобы она ловила мышей. Хозяева приезжали только на выходные, по воскресеньям возвращались в город. Она на них не обижалась. Другие же хозяева своих питомцев привозили и увозили с собой в кошачьих контейнерах. А она целыми днями гуляла сама по себе, ловила мышей и крыс, лазила по деревьям, охотилась на птиц. Соседние дачи были добрые и злые. На одних её угощали чем-нибудь вкусненьким, и даже молочком. Другие, откуда прогнали и где злобствовали собаки, она обходила стороной. И всё же познакомилась со многими кошками и котами и с некоторыми дружила. В будний день родила трёх котят, но ударил заморозок. И они замёрзли. Обезумев от горя, положила их у закрытой двери своего дачного дома, как будто кто-то мог выйти и оживить их. Проплакав всю ночь, похоронила деток в ложбинке под берёзой. Подгрела лапкой землицу на могилку, опавшую берёзовую листву. Чтобы собаки не учуяли. А они уже стали сбиваться в свирепые стаи. Брошенные хозяевами, голодные, одичавшие, охотились на кошек, пожирали друг друга и нападали на людей. Дачники на зиму покидали свои владения. Многие оставляли на произвол судьбы, бедствовать, умирать своих недавно ещё любимых питомцев.

Бросили и её. И она пришла к бабушке. В обезлюдившей дачной округе старушка зазимовала одна. Её тоже бросили. После смерти котят и пережитого горя у кошки вместо «мяу-мяу» вышло «ма-ма». И потому бабушка Фрося стала навеличивать её Мамой. И не только из-за этого. А ещё и за ласку, за дивное пение, за душевную теплоту. За целебную силу. Ибо здоровье Фросино пошатнулось, после того как сын не приехал за ней. Сама же Мама навевалась иногда к своим деткам на могилку, подправляла холмик и покров из берёзовой листвы.

Да, жизнь всем даётся, да не у всех удаётся. Не заладилась у сына, а вообще-то он хороший. А такая, как она, обузой до земли оттянет плечи. Время-то какое раздорное! Даже не тужится страна сбросить, как змеиную кожу, непорядок, несправедливость. Россия по природе — богатая. А богатство для чего Богом дадено? Чтобы не было бедных. В старину говорили: надо держаться плуга и Бога. Хорошая страна держится на честном труде, на любви друг к другу и к Богу. А на русской богатой земле смерзаются судьбы, как птицы в коме на ледяном ветру. На многих ставят крест ещё до гробовой доски. . .

Долго читала слухом все составы, бегущие далече, из города. Надрывные, прощальные крики поездов исцемляли сердце. Она-то знала, что прощальные. В глазах сына видела. Как он плакал —

и слёзы прятал. И она, чтобы не выказать прощания, сглотнула комок слёзной горечи. Отвернулась. Оглянулась: прошлое маячило, пёстро разодетое. . . И вот — нависло тенью. . . Горечь сиротства — на старости лет. На самой закрайке жизни. Осталось её всего-то на воробьиный скак, а время тягучее не отпускает. Что за доля? . . . Прошлой весной сынок свёз, полтора года минуло. А она даже не знает, как он теперь. . . Домок на солнечном угоре осунулся, осел в низину: пласты земные подвинулись. И жизненные. . .

Лупили дожди, громили грозы, сотрясая малуху. Глухой, мутный шум леса вплотную подступал к лачуге. И волчий вой, похожий на вой одинокого поезда, рвал душу. . .

Поезда в вихрях летели, гремели подковами. Лесо-посадки для снегозадержания вырастали вровень с дорожными столбами. Вёрсты вились следом. Не одну выюгу за хвост оттаскала Ефросинья. Километрами мяла годы, укладывала на путевых ветрах. Шпалы укладывала. Артистка Мордюкова похоже изобразила. Полустанок ветрогонный, без имени. Навламывалась, надсадилась. Садануло поясницу, чуть ноги не отнялись. Вот та надсада и аукнулась. . . И вроде схлопнулись годы. Смежились облака. Но в отверстие окна меж ними, как белые голуби, возносились молитвы. И от библейской синевы неба слезами перехватывало горло. . .

Дражайшее счастье заложили они с незабвенным Арсением, Арсюхой родным. На дрезине, как на авто дорогом, девок катал. А потом только её одну, Ефросинью, Фросюшку свою. . . Острым словом владел. Выпивох подчинённых журил: — У вас пятница — тяпница. А понедельник для вас — поделомник.

Занедужил, в горячем августе — морозить его стало. Фрося — в слёзы. А он лишь посмеивался: — У тебя, Фросюшка, август — август, сентябрь — слюнтябрь. А нам ещё с тобой грибы ловить и рыбу собирать!

Просквозило на жгучих путевых ветрах. До смертушки ожгло лёгкие. . . Стужи здешние — лютые. Калят — аж рельсы скрипят, рвутся с треском, бабахают с разрывом. И провода путевые рвутся, как нитки. Закуржавеют — то постанывают, гудят, точно косточки болезные, то стреляют. А он дюжил.

— На холоде, — любил повторять, — крепчает душевный настрой!

Как ярая лайка затравливается на зверя, так и Арсений сгорал на работе. Лыдистые звёзды шприцами кололи горячее тело, а он и ночами торил и торил намеченный свой путь. . . Его крепость и ей передалась. Счастливы не только те, у которых всё хорошо, но особо те, у которых хорошо несмотря ни на что! . . . А тот безмянный полустанок до станции подрос — до Портново. Не портачил Арсений

Портнов, а сшивал накрепко свои пути, железно, навеки!.. Дал же Господь шестое чувство неба! Небесные и земные пространства ширили душу... Сколько путей отворили они с Арсением! Напитали безлюдные земли жизнью. Уложили железные полотна для связи мира и людей. Только вот её связь с семьёй сына не сложилась. Ничего, может, и его дорога окрепнет. Её же стёжка вот к этому полустанку привела—к безымянному, к лачуге. К остановке—Последняя. Последняя ли?.. В конце ноября, перед холодами, пришла Мама. В помощь, во спасение. И перестала Ефросинья уничтожать себя, называть Бедой Бедовной. А то ведь маятник её уже замедлился до щипанных минут. В мышленном страхе слышала волчи шаги. В крадущейся тишине лунный свет погреть бы мог, да он едва пробирался сквозь насунутое оконце... Совсем было смерклося в душе, в жизни. И вот, уврачёванная Мамой, задюжила. Как тут не уврачешься, коли кошка, такая же брошенка, как и старуха, оказалась столь дивной, целительной песьельницей? В такт её напеву и стихок сам собой у бабушки сложился:

Ах, какие звуки-завитушки!  
Сладкие, как мамины ватрушки!

Вот и стала баба Фрося величать свою кошурку Мамой. К тому же та не мяукала, а произносила: «Ма-ма». Мурлыкала сладко, колыбельно. Даже разговаривала. Балакала, колябушки, как деточка, гулила. А вот «мама» у неё внятно звучало. Да, кошки—они как люди, даже лучше!.. А их бросают, и собак. Бросают престарелых отцов-матерей, дедушек-бабушек. Одних—как надоевшие игрушки, ненужные. Других—как негодных, негодных, обузных... Да ладно, всего легче обманывать себя и считать чем-то, будучи ничем. Сподобил Господь Фросю немощью уразуметь это. И вот, будучи ничем, сгодилась. Морок в нору уполз. Растаявшие, как туман, сны снова затабунились. Замерцали в них узелки памяти... Надела крупной вязки свитер, связанный Арсению. Его надевала по особым дням. Сунула ноги в чуни, накиннула полшалока. Мама с песнопением, празднично повела её на свежий воздух.

Ещё месяц стружкой корябался о меркнувшие звёздочки... Плотничал Арсений на больничной пенсии в последних годах... И природа как бы пребывала в последних годах. Однако что-то тайное ещё пощёлкивало, сверлило тишину...

Ключья тумана плавали в ложине. Тучи «медведи-волки» забродили. Дрыном загрозились да с молитвой открылись от них. Как от напастей. До дрожащих луж. Орлиный восход крылья распростёр. Светало. Заблестали капли на росном окне. Не гнилуха-развалюха. Жилка-жиличка! Обитель на двоих с Мамой. А та, хозяйшюка, уже в огороде морковкой лакомится, щурится довольно. Отёрла Фрося кудрявой ботвой каротельку, повкушала

вместе с Мамой сахарную морковку, потискалась дёснами.

Лучи над лесом взнялись внахлёт и осыпали Фросино урочище солнечным дождём. С радостным дивом взидала она на распахнутую тайну природы, жизни всей.

Полтора года сама управлялась, дюжила. Так оттепело в жизни, посветлело при Маме... Неделю назад занемогла, потом и вовсе слегла. Уж птица-ночь смертно стонала, а Мама утешала, колыбеляла с плачем, отдавая своё тепло... А потом, спасительница, привела и спасителя. Да, время не только уходит, но и приходит. А с годами не мудрость является—отбрасываются зряшные ожидания. Зряшные, обманные, пустые. И только одно ожидание—подлинное. Жизнь человеку дана, чтобы он встретился с Богом. Вот и у неё продлилась она, и мнученек явился, поговой мальчик. Может, и впрямь в достоинстве отойдёт ко Господу? Он ко благу всё управит. Случится плохое—моли Его, и плохое прекратится. Случится хорошее—возблагодари Бога, и хорошее останется... Нет, не запыхлятина она, Ефросинья, не Беда Бедовна! Лишь потёртости на боках её лошадки-жизни. Впереди ещё вежи и вешки. Дни на убыль—а вроде как на подрост... —Бабушка, бабушка!..—послышался у крыльца звонкий голосок Гриши.

Он внёс пышную охапку моркови вместе с мокрой ботвой. Сам весь мокрый, снял кроссовки на крыльце. Кошка, отряхнувшись, отфыркавшись, подняв хвост трубой, с разливной песней ластилась у его босых ног. Мягкий, сладковатый морковный запах, со свежестью родниковой воды и зелени, окутал старуху. Поохивая, она чуть не задохнулась от такого животворного духа, даже слёзы прошибло. Гриша деловито вывалил урожай на кухонный столик, застеленный клетчатой клеёнкой. Подал бабушке влажную каротельку с длинной косой: —Бабушка, а Мама—такая жрунишка! Грызёт моркошку, как зайка. Вот потому у неё зрение хорошее и глаза красивые. А мы с ней к ключику бегали, морковку помыли. А жаба как рывкнет, а лягушки как загорланят!.. А я, бабушка, ни-сколечко не испугался. Мы жабе тоже морковку оставили. А она такая вкуснятина! Сладкая-пресладкая!.. Пока я ем, я глух и нем!—и он смачно начал хрумтеть сочной морковкой.

Изумрудная коса её моталась, брызгами орошая Маму. Та морщилась, фыркала, вгрызаясь в своё морковное лакомство. Неделю назад у старухи при падении выпал последний зуб. И она твёрдо пыталась потискать дёснами морковку. Чмокая, катала её языком во рту, как соску. Ногтями стала отколупывать кусочки морковной плоти, зажёвывая их влажными кудерьками ботвы. Оголодала. —А у тебя, бабушка, зубы есть, чтобы моркошку есть?—заметил её мучения Гриша.

— Отправитель— Небо. Почтовый ящик— голова. Складно ты, Гришенька, сочинил, в рифму. Как Пушкин!

— Не-е!.. Он про Вещего Олега, князя, складно сочинил и про его коня: «Покройте попоной, мохнатым ковром, в мой луг под уздцы отведите!..» Мама любит это стихотворение. Оно— как песня. Мама его мне часто напевает.

— Светлая у тебя головушка, и слова складные нашлись.

— И ты, бабушка, у меня нашлась! У меня с мамой. Да ещё с твоей Мамой, с нашей. Вон сколько у нас мам! Целых две!..

Он нашарил под морковной охапкой тёрку:

— Бабушка, тёрка ржавая.

— В запусти живу, Гришенька, в запусти.

— Ничего, я ножиком тебе морковку настрогаю.

Вот и он, заботник, стал нужен, будет ухаживать за бабушкой. И она позаботилась о нём, приютила. Она ласковая, и кошка Мама, и Гришина мама. И всем будет тепло и радостно! Да, все, кому мы делаем добро,— они нам свои.

Морковная стружка оказалась старухе по силам, и она аж зачмокала от удовольствия, приговаривая:

— Ишь какой мальчок, Гриняточка-выручалочка!..

— Вон как Мама распелась! У неё трели как у свирели! А как красиво смотрит, всё понимает!.. У Вики тоже красивые глаза. Вика— такая кулёма! Не ладится у неё с чтением: «Мы-а, мы-а— папа. Пы-а, пы-а— мама». Вот умора! Но всё равно она красивая!.. «Ладно,— говорит,— пойду за тебя, Гриша! Но принц у меня будет другой!» Ну конечно— принцесса!.. На новогоднем утреннике даже громче моей мамы за меня болела: «Мишутка, быстрее!..» Я и победил. Мы в мешках наперегонки бегали. Так смешно и весело! Дети путались и падали. А мама меня в Мишутку на ёлку нарядила. И я тоже падал, но всего только раз упал и обогнал... У Вики и счёт смешной. Я её спросил: «Сколько ног у собачки?» А она говорит: «Столько, сколько у стульчика». Вот умора!.. А вообще-то правильно. Находчивая она у меня!.. А я Лёшу спросил, кого он из девочек в садике любит. А он— никого. Холостой. Эх, я вот неумывайка! Не то что Мама. Вон как личико лапкой моет. Гостей намывает, гостью, маму мою, нашу... Я дома помоюсь, в садик пойду, меня там никто не узнает. Всех детей обрадую, что бабушка нашлась!

— Гришенька, ты почему босичком? У тебя, поди, уже сопельки есть?

— А тебе, бабушка, зачем?.. Вставай давай! Хватит тебе сидживать! Выздоровливай, в прятки играем или в жмурки... На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Нет, кто ты будешь такая?

— Портная!

— Ура-а!.. Сошьёшь мне костюм для первоклассника! А то мне скоро в школу, а я без костюма. Мама говорит, чтобы собрать первоклашку в школу, денег надо потратить как на свадьбу. А у неё зарплата— на заплату. Вика тоже портниха. Попонку для своего Антошки сшила. И ты для моего коня попоны сошьёшь. А в этой деревне ни одного коня нет. Ещё Золотая называется. А ну его! Гошу не приобрели, зато бабушку!.. Расскажи сказку про чебурашку-ниндзя!

— Жила-была черепашка, которую звали Низзя. У неё было много-премного игрушек. Но она жадничала, никому их не давала поиграть и всем говорила: «Низзя!»

— Ты тоже, бабушка, находчивая, как и Вика. Тебе в квн надо! А хочешь, я расскажу тебе сказку про золотого петушка? Сказка называется «Золушка».

Баба Фрося шуточно погрозила пальцем:

— Вот хитрован! Бабушку хотел обмануть.

— А моя мама всё равно скоро придёт!— неожиданно посерьёзней Гриша, лицо его плаксиво сморщилось, и он потрогал ключ на шее.

— Придёт, придёт, милый!— запричитала старуха.— Как же к сыну своему не прийти?..

Она понимала, что за его говорливостью и показной беспечностью кроется напряжённое, тревожное ожидание. Поначалу-то обрадовалась живой человеческой душе, может, и спасительной для неё. Но затем внутренняя тревога мальчика передалась и ей. Обезноженная, немощная, как она могла помочь ему? Если уйдёт от неё, может заблудиться, пропасть. Оставалось уповать на Господа. В кромешной тайге до зимовья староверки Агафьи Лыковой добрались. А тут и деревня неподалёку, и дачи, и станция. Найдёт Зинаида Гришеньку своего. Обязательно найдёт!

— Конечно, придёт!— твёрдо повторила старуха.— Вон и Мама всё гостью намывает. Вишь, ушмыгнула на улку. Почуяла кого-то. И ты, Гриша, выйди и покричи свою маму. Она и услышит. Только никуда не убегай, а то мама придёт, а тебя нет.

Домой пришла пораньше. Суббота всё-таки, выходной. Постучала, приговаривая:

— Туки-туки!..

Обычно Гриша с радостным криком: «Ма-а-ама!..»— бежал со всех ног и лязгал щекоткой. Тихо. Прислушалась. Ни телевизора, ни стрелялок не слышно. Почуввав неладное, затарабанила, закричала:

— Туки-туки! Гриша!— своим ключом открывая дверь.

Влетела в квартиру. У комода на столе увидела тетрадный лист и фотографию. Несколько раз прочитала записку. Невидяще приложила её к мокрым глазам и ватно опустила на стул, в слезах бормоча:

— Что я наделала? Что я наделала?..

Заголосила, завывала. В исступлении порвала фотографию на мелкие клочки. Достала из комода кой-какие денежные сбережения. Бросилась на улицу. Поймала такси, сказала куда ехать. Водитель столь длинному маршруту до Золотой Долины не удивился и про оплату не спросил. Лишь мотнул головой. Мрачный, низколобый угрюмец. В другое время с таким рядом никогда бы не села. Тугодумно морщил лоб. Тяготили какие-то мысли. Даже музыку выключил...

Ветер свистел в приоткрытое боковое окно. Сёк её розгами. За самообман, за самообольщение. За то, что посмела влюбиться, как девчонка. Забыла о сыночке. Хотя и ему угоден был Гоша...

Дом отдыха... Мнилось—дом счастья!.. Горячие взоры—подобие любви. Шальные рассветы—с сердцем не сладить! Пахло степью и рекой. Вольно раскинулась с затонами, рукастая. Лыжины барж скользили по ней. Белый теплоход приветствовал: «На теплоходе музыка играет...» И чайки-кричачки. Катались на лодке. Зина удивлялась золотому, не крестьянскому, загару Георгия. Дурачились. Отраднo звенел Гришин голосок. И Гоша восхищался роскошными волосами Зины с отливом нежно-розового заката... Последний день в доме отдыха... Окунёвые всплески, тихие круги. Как замирала, дрожала в предчувствии любви! Комочек облачка, комочек пряного ветерка. Слизала с губ капли ивовой росы со счастливыми слезами. Заплаканный счастья платочек... Крона берёзы в солнечной короне, в венце венчальном. Такой невестой грезилась себе... Сверкнул этот день хрусталём стрекозиным. Столько стрекозок дрожало...

Одёрнула себя, смахнула видения: «Ишь, Алиса в Стране чудес! Нет уж!.. Стёрся дня того след, растаял». Однако чепуха, пузырящаяся в голове, всё донимала и донимала... Да, шероховато с ней, занозисто, и родинку на ключице углядел Гоша. Тогда и горизонт, размытый от слёз, увиделся подсинённым, как глаза её. И лицо в зеркальце—как будто нет лица. Встреча с собой—самая неприятная... А Гоша вроде бы в чувствах признался: «Заноза ты моя!» А ей послышалось: заноза. Переспрашивать не стала, но заноза в голове не давала покоя. Смуты мучительная боль... Слепила, состряпала счастьеце, малярша-штукатурша. Втюрилась, тюря! Совсем берега потеряла. Да, минутная слабость может длиться долго... Покатил «семью» в Золотую Долину... Решение левым мизинцем. Муж—объелся груш! Обидно, досадно, да ладно. Это было давно и неправда. Пепел потушен! Но ранка от ожога шаяла. Зарубцевалась было, а сын разбередил. Так ведь сама дала повод, страдалица. Уже в глухой полынье утопла надежда, а льдинка её, осколочек, всё колола и колола... Плохая она мать!..

Пять годков Гришеньке стукнуло, когда беда нагринула. Строили дети в садишной песочнице

замок. Закадычная Гришина подружка Вика нечаянно лопаткой ушибла ножку ему. Под коленкой шишка вздулась с ужасным названием—гигрома. Грозилa сложная операция, ведь в сгибе сухожилия—мог обезножить мальчишечка. Да к этому времени придумали новый метод—выкачивать жидкость из шишки.

Отправлял из кто-нибудь малых деточек в больницу?... Нет печальнее шествля!.. Храбрился: — Не беспокойся, мама! Уж недели-то две я и без тебя перебьюсь.

Мужественно поковылял с нянечкой от мамы в глубь тёмного коридора, забитого тяжёлым больничным духом. Лишь разок обернулся—и едва не кинулся к маме. Зинаиду будто пополам разорвали и забрали самую жизненную суть. Да так оно и было. Её и сыночку словно пуповина связывала, некий невидимый кокон пеленал их как бы в один организм. И какой недобрый человек придумал: мать-одиночка? Это она-то—одиночка?!.. Вскакивала ночью с постели, зная точно, что Гришутка хочет пи-пи, хотя не подавал ни звука. Сквозь дебри своих снов она чутко улавливала его пугливое бормотание. И наводила порядок в сыновней деревушке Сонино, изгоняя колыбельными всяких бук и бяк.

И смех, и грех... Стоит мамке воссесть на унизанный трон в позе читающего орла, как Гриша уже сопит возле туалета, покряхтывает. А ведь только что спрашивала о его желании. Головёнкой отчаянно мотал: не хочу!..

Во всякое свободное время летела к своему «партизану». После выкачки ножку ему загипсовали. Спать неловко, в туалет на костылях сходить—мучение. Спасибо, другие мамочки ухаживали. А то бы без содержания пришлось брать. А жить-то на что?... Лежали мамы не только с малютками, но и с ребятишками постарше Гриши. Ночевали в коридоре на кушетках, раскладушках. Зинаида бы к сыночке переселилась, но места для неё не нашлось. Да и сын просил не волноваться: — Ты же, мам, каждый день ездишь!

И всё-таки корила себя: мать называется! Упросила сестру-хозяйку: выделила та закуток. После операции мать с ребёнком должна находиться. Всего лишь разок-то и ночевала. Вот уж Гриша радёшенек был!.. Только он без костыльков потёпал, Зинаида уломала лечащего врача выписать сына до срока. Схватила его в охапку, укутала в свой пуховик и на шаровике привезла домой. Праздник был, словно Гришенька только что родился. И впрямь произошли роды послегигромной ножки, когда разрежала мама ножницами ненавистный гипсовый панцирь...

Так и перемежались в покаянной материнской памяти печальные дни со светлыми. С солнечными...

Вот Зинаида—мадонна с младенцем! Возносит на руках чудо своё перед стройтрестовской

бригадой, нагрывушей к родному с цветами, поздравлениями. А папка смалодушничал, не пришёл... Это её, её сынулька, Гришенька!..

Возится, бывало, деточка, возится, никак уснуть не может. Мамочки димедрол суют. А Зинаида только начнёт сказочку самодельную—сыночка и успокаивается, сладенько засыпает. Простудится, бывает, лобик горяченький, сопельки-кашлючки. Другие мамашки сразу в панику: дифтерит, бронхит, воспаление лёгких, врача, скорую!.. Весь арсенал в бой: таблетки, прогревания, шалфеймяты, «шпагоглотание» со рвотным люголем... А Зинаида приложит к птенчиковой грудке ладошку и проникается, проникается материнской любовью к кровиночке своей. Вспоминает самое трогательное, слёзное, незабвенное...

Больничка. Всё-таки не уберегла Гришутку: бронхит. Закутанная в шаль, ходит с ним Зинаида по коридору. Здесь прохладнее, посвежее. Нянькает замотанного в одеяло ребёночка. Какой взрослый взгляд у крохотулечки! Словно говорящий: «Приболел немного, мам, но ты не переживай. Я живучий, дело идёт на поправку, недельки через две выпишут. Я люблю тебя, мамочка, скучаю по твоей колыбельной: „Баюшки, мой Гриша...“ В палате нельзя, там лялечки спят».

Как много сказали глаза-смородины! Из взрослая мудрость их ошеломила Зинаиду. Она даже замерла. Маленький человечек. Будто и не ребёнок... Личико её, Зинаидино. Точно такой же запечатлела фотка восьмимесячную Зину. Слово под кофирку!.. Оттого и копия, что любит. Оттого и утешение, и взрослость. Ведь она сама, как ребёнок, нуждалась в этом. У матери была своя жизнь; не везло ей с мужьями, падчерице Зине—с папашами. Теперь вот бедолажность как бы повторяется...

Недолюбленных долюбят дети...

Бабка-шептунья приходила, мякишем хлебным скатывала щетинку на спине у Гришеньки, над животиком болезным узелки вязала. Но мучился малыш, хныкал, совсем не спал. Вот и ходила мамка с сыночком на руках взад-вперёд по комнате и складывала всякие «баюшки». Часа по два так вот укачивала беспокойного. Стоило присесть, сморённой, как больки просыпались и будили бедняжку. И опять Зина едва ли не до рассвета меряла шаги. Ладно, в декретном была... Не раздражалась, не уставала—видать, Боженька для деточки силы давал.

Ходим, ходим, бродим, бродим—  
По дороге сны находим...

Эта шагословка о десяти светлых снах сложилась после недели хождений с больным сыночком на руках.

Вот он, вот он—  
На дороге первый сон!

Сны, найденные на счастливой дороге, оказались ангелами-целителями и быстро повыгоняли из Гриняточки бессонные больки. У Зины навечно осталось ощущение молочного тельца в руках, словно она пуповиной неразрывно связана с Гришенькой.

Потому и расставания с сыночком были столь болезненны, как разрыв этой пуповины. Сдали нарядную, уютную дачу стройтрестовского детского сада. С тщанием и любовью навела последние малярные штрихи Зинаида. Ведь на этой даче будет отдыхать её Гришутка. В садике-то он компанейский, а как здесь, в отрыве от мамы, поведёт себя? Как бы не ранить его сердечко! Мамочкин же сынок. Однако ж весь садик на оздоровление отправляется. Сосновый бор, речка, природа! И дружки-подружки.

Повезли детишек на автобусах, разукрашенных гирляндами воздушных шаров. Никто из «дачников» и не расстроился. При погрузке в суете все были радостно возбуждены. Лишь кое-кто из мамаш украдкой смахнул слезу. Зинаиде же стало тоскливо. Первое расставание... А Гриша, пострелёнок, даже толком не попрощался, резво ушмыгнул в автобус. Лишь из окна его весело махал ручонкой... На другой день на вечерней электричке Зинаида помчалась к Гришутке. Только вошла в дачные ворота, как из кустов вылетел, сердешный, и залепетал, захлёбываясь в рыданье: —М-ма!.. М-ма!.. П-почему меня не з-за-забрала-а?!..

Ночь не спал, глупыш. Всю подушку горячими слезами оросил... А мамка так и не пришла, забыла, бросила. Весь день прождал в кустах, тарзан. Едва успокоила... Пообвык потом. И всё же с великим облегчением дождалась окончания оздоровления и возмужания сына.

Возмужание... Пошли к зубному врачу. У кабинета очередь. А за дверью крики и вопли. И Гриша не выдержал, заплакал.

— Не плачь, Григорий! Ты же мужчина, целых пять лет!

— Я—не Григорий, а Гриша. Я—тряпка! Уведи меня отсюда!

— Не тряпка ты у меня, сынок, помощник мой!..

Взбодрила Зинаида сына, почти по-геройски вёл себя у стоматолога, только кряхтел да ойкал. Даже врач похвалил за стойкость и мужество. Ноет ранка на месте удалённого зуба, но Гриша терпит, лишь иногда щёку припухшую поглаживает. Во дворе тётянка из соседнего дома повстрчалась:

— Такой большой, а всё с мамой за ручку ходишь!  
— Мама, у тёти дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, а я тебя ещё и поцелую!..

Умничка он у неё. Серьёзный. За маму беспокоится, переживает. Будет кому в старости воды подать, допокоить... И враз ощутила Зинаида душевную

усталость. Всё иссушает маета, которую сама же выдумала. Отсветы беглого дня на ладонях. Опустила лицо в слёзную пригоршню. Плохая она мать!..

Первый раз в садик повела Гришу. Туман липкий, морось въедливая. Лужи из-за бензиновых машин — будто листы стальные в тяжёло-цветных окалинах.

Шуршит Гриша в болоньевом плаще, хлопают голяшки большеватых сапог. Всё велико: от соседской бузуки Катьки досталось. Сиротинкой выглядел. Его даже и не видно в чёрном плаще с капшоном. Точно монашек. И казённый дом впереди. . .

Пообвык, с ребятами играл. . . Вот уже всех детишек из садика забрали — а мамки всё нет! Родители утешали: придёт скоро, пробки на дорогах. Ползал, терпеливец, со зверушками, машинками на полу. Технику в гараж поставил; зайчат, медвежонка с жирафом спать уложил. Чумазый, в соплях, без колготок, босенький. Уревелся по мамке, сердешный, опруднившийся. . .

Влетела, заполошная, взмыленная. Ещё до обеда с объекта сорвалась — да транспорт, пробки. . . А Валентина Борисовна тут же всучила нерадивой мамашке кисть с суриком и велела красить плитуса в игровой. Сама же закинула ногу на ногу и принялась нервно сосать «мальборину».

Мать вовсю пласталась; будто кровью, краской заляпала кроссы, обтёрханные джинсы. Гриша, сторбившись, как старичок, тихонько всхлипывал на скамеечке. Горестно подпёр щёчку солёным от слёз кулачком, словно сиротиночка, ждал своей участи.

Закончила мамка истязательный малярный марафон — а разогнуться не может. С опаской посилилась распрямить спину. Прострел! Будто гром треснул в пояснице и молнией ожгло её. Скрючили силы небесные неразумную родительницу и ткнули лбом об пол, дабы не пресмыкалась перед царичкою детского сада-ада. Как не пресмыкаться, Господи?! Не потрафи царичке — затюкает малышонка. Словно внял Господь жалобе — отпустило поясницу. Кособочась, кривясь от боли, едва разогнулась мать.

— Всё, Лизунов! Можешь быть свободен! — смахнула пепел с колени воспитаха.

А Гришечка, как на тюремном свидании, бросился на шею маме, да так до самого дома не отпускал её.

Эта самая жуткая вина перед сыном нет-нет да и саднила душу. И вот страшный удар новой вины! И день, как ночь, навис чёрным бредом. . .

— Где ваш искомый переулочек?

Она вздрогнула, непонимающе заозиралась. Упёрлась взглядом в глинистую корку земли, вспоротую корявым корнем тополя. Развилоч. Неподальёку пашковский дом.

— Здесь, здесь!.. — суетливо расплатилась с таксистом и вылезла из машины.

Облака на просвет — кисея кисеёй. Как бы сквозь них увиделась пашковская горница. . . Гринятка скачет на папке Гоше. «Коняшка» лбом ушибается о комод, чешет шишку. Заливается колокольчиком «всадник»:

— Конь-огонь, здорово ушибся? Сможешь катать меня? Ах, не сможешь?! Ну тогда. . .

Учителька встряла:

— Лошадь сдохла. Слазь!

При ребёнке такое ляпнуть! Это о родиче своём, о «рысаке». Тракторист — с комплексом полноценности, с шампанским в крови: «От любви опьянён, я твои целовал колени». Трынди-брынди, бала-лайка!.. Наобещал. Обещанного три года ждут. Да, хрупкие надежды нередко разбиваются о твёрдые обещания. Стёрся жизни его след. . .

Частоколы деревенских заборов, кое-где блескущие легковушки. Удлинялись тени, спалада жара. Пустынно на улице. Щемящая тоска дорожной пыли. И небо уже белёсое, линияе. Пролетела лохматая галка, щёлкнула, буркнула, ругнулась.

Зубастый, хищный тын пашковского подворья. Индюк — всмятку. Вислозадая брюхатая дворняга протащилась гиеной. С треском разорвалась сонная тишина. «Инопланетянин» Коля Пашков чуть не сбил на «Ямахе» брюхатую псину, расшугал пернатую живность. Заквохтали, улепётывая, куры; загоготали гуси, закричали утки. Петух заклёло каркнул. Не взлаял, а издал чёрствый карк Мухтар.

— Что ты ко мне, Зин, прямо так это?.. — смешался под жёстким взглядом Зинаиды Никола. — Да, тут твой малой искал папу Гошу. Тю-тю ваш папа! Умтал в сторону моря. Ха! На Шикотане молоденьких рыбообработчиц навалом! Так что. . .

— Где Гриша?!

— На дачах, — Пашков махнул рукой в сторону дач. — Зачем он туда?!.. — от гнева сбивчиво спросила Зинаида.

— Песню услышал. Думал, Гоша поёт. . .

— Как же так?.. Отпустить ребёнка одного?!..

— Я ему говорил, Зин, говорил. . . Не молчи так на меня, Зин. Я не я. . .

Всё нутро её облилось горечью, всё в ней опало. На ватных ногах дошаркала до развилки. Тополиной ветки перст загрозился на неё. С гнезда сорвалась птица. И ветер крыльев сорвал Зинаиду и погнал, погнал. . . Заметалась от дачи к даче. . .

— Нет, не видели!

— Нет, никакого мальчика не было!

— Спрашивал один мальчонка какого-то Гошу. Нет у нас никаких Гош!.. Вон туда побежал!

Тяжёлое, набрякшее лицо, рыбы глаза, черепашья шея. «Недвижимость» под столом храпит. Похоже, здесь пировали, пели. Рванулась, куда «тортила» рукой махнула. Собачонка пристебалась. — Ляля, Ляля, не обижай тётеньку, успокойся!.. Да-да, видели мальчика, к урочищу побежал.

Это сведение придало ей силы. Она верно бежала по следу сына: вот-вот догонит! И обострившееся, как у волчицы, чутьё гнало её по следу...

Однако дачи кончились. Тёмно-зелёное урочище зияло бездной. Она поглотила её мальчика. Кладбище деревьев, суковатых, как кресты...

Пронзающий пространство вой поезда. Душе-раздирающий. Её вой. Упала в траву. Вцепилась в неё, рыдая, и стала рвать, рвать, скрести землю. Обессиленно, опустошённо замерла. Всё полынью прогоркло. И судьба. Как будто день замкнул тяжёлым своим взглядом последнюю надежду. Заволокло душу тучами...

Небо в ней отдалось рокотом... Она лежала в траве и смотрела в небо, как трава. Реактивный самолёт чертил в нём белую полосу, будто указывая ей путь. Неподальёку военный аэродром, гарнизон. Вертолёты, поисковые отряды, МЧС, волонтёры, добровольцы... Девочка Таня шесть суток в тайге блуждала. И нашли!.. А Гриша вообще самостоятельный, из тайги вывел... Нет-нет, какие добровольцы? Гриша где-то рядом!.. Замерла, вслушиваясь, выискивая слухом и обонянием сыночка. Шелест перьев одинокой птицы. Взлетела с испуганным криком. Из-под взмаха крыльев кинжалом блеснула змея. Отпрянула

Зинаида—и наступила на шапочку. На Гришину бейсболку!.. Схватила её, прижала к слёзному лицу и начала целовать, приговаривая: — Прости меня, Гришенька! Прости!..

Слух, взгляд, вся её суть полетела на сыновний зов. Сердце материнское чувало, рвалось... Кусты тальника и вереска спутались с разнотравьем. Стена травостойная, глухая, в колючках чертополоха,—пробитая кем-то. И она вошла в эту гущу, разгребая тучные волны высокой травы. Подол юбки отяжелел от травяной влаги в комарином логове. Прелой листвы крепчайшая закваска шибанула в нос. Жаба пучилась на кочке у бочажка. Перед ней изумрудью поблёскивала влажная ботвяная коса с ярко-оранжевой морковью. С огорода! Близко жильё!.. Из расселины камня курлыкал родник. При такой живой водице—конечно же, должна быть человеческая жизнь! Так и есть, к роднику протоптана тропинка. Вся в кудерьках морковной ботвы. Кто-то совсем недавно мыл морковь. Кто-то... Гриша, конечно! Морковный журишка...

А он уже вышел встречать её вместе с Мамой по совету бабы Фроси. Облака развесились цветасто, будто стирка на небе. Будто мама постирала. Она уже совсем рядом!

— Ма-ама-а! Ма-ама-а!.. Мы здесь, у бабушки!